

Владимир Гиляровский

Докучаев



Часть сборника
Москва и москвичи (сборник)



Москва и москвичи // Эксмо, М., 2008

ISBN: 978-5-699-11515-0

FB2: "shum29" <au.shum@gmail.com>, 16.11.2008, version 1.0

UUID: c89bf612-0523-102c-99a2-0288a49f2f10

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Владимир Алексеевич Гиляровский

Докучаев
(Люди театра)

«В тамбовском театре, в большом каменном здании, в нижнем этаже, была огромная кладовая с двумя широкими низкими окнами над самой землей: одно на юг, другое на запад. Эта кладовая называлась «старая бу-тафорская» и годами не отпиралась...»

Владимир Гиляровский Докучаев

В тамбовском театре, в большом каменном здании, в нижнем этаже, была огромная кладовая с двумя широкими низкими окнами над самой землей: одно на юг, другое на запад. Эта кладовая называлась «старая бутафорская» и годами не отпиралась.

В старые времена, когда еще Григорьев ездил с своей труппой в летние месяцы на ярмарки, там хранилась бутафория и всякая рухлядь, которая путешествовала с актерами. Как-то Великим постом Григорий Иванович позвал машиниста Семилетова:

– Вот ключ, отпери кладовку, но сперва протри снаружи левое окно. Там, под ним, в театральной уголке стоит белый китайский сундук... Помнишь? Мы его с собой возьмем в отъезд.

– Знаю, под колесом!

– А вы, – обратился он ко мне и Васе, – помогите ему вытащить сундук. Только не вздумайте огонь зажигать – там все сразу вспыхнет.

Крякнул ключ, завизжала окованная железом дверь, и мы очутились в потемках – только можно было разглядеть два окна: одно по-

лутемное, заросшее паутиной, другое посветлее. И вся эта масса хлама была сплошь покрыта пылью, как одеялом, только слева непонятные контуры какие-то торчали. Около двери, налево, широкая полка, на ней сквозь пыль можно рассмотреть шлемы, короны, латы, конечно бумажные. Над ними висели такие же мечи, сабли, шестоперы.

Это и было начало театрального уголка... В другой половине, где хранились еще от постройки театра строительные материалы – листовое железо и деревянные рамы павильонов, – ничто не остановило внимания под сплошной пеленой пыли.

Вася тихо, стараясь не пылить, пробирался к светлому окну полуощупью.

Вдруг луч солнца порвался в окно, и поднятая Васей пыль заплясала в широкой золотой полосе, осветившей серые контуры и чуть блеснувшей на кубках и доспехах.

Вася зачихал, выругался... Его звали «чистоплюй»: он по десять раз в день мыл руки, а когда пил водку, то последнюю каплю из рюмки обязательно выливал на ладонь и вытирал чистым платком. В кармане у него все-

гда были кусочки белой бумаги. Он никогда не возьмется за скобку двери иначе, как не обернув ее бумажкой. А тут такая пыль!

Вася так чихнул, что над головой его поднялась облаком пыль и густыми клубами, как бы из трубы, поползла по лучу. А Вася все чихал и ругался:

– Мордой в сатану угодил!

Солнце осветило над ним золотой трон и сидящую фигуру в блестящей короне, над которой торчали золотые рога. Вася продвинулся дальше – и снова клуб пыли от крутнувшегося огромнейшего широкого колеса, на котором поднялась и вновь опустилась в полумраке человеческая фигура: солнце до нее не дошло. Зато оно осветило огромного, красного сквозь пыль идола с лучами вокруг головы.

– Вот он и сундук, – слышу из тучи пыли.

– Помочь? – спрашиваю.

– Да он легкий, сейчас выну!

Дернул он из-под колеса, колесо закрутилось, и я увидел привязанную к нему промелькнувшую фигуру человека. Выпрастывая сундук, Вася толкнул идола, и тот во весь свой рост, вдвое выше человеческого, грохнулся.

Загрохотало, затрещало ломавшееся дерево, зазвенело где-то внизу под ним разбитое стекло. Солнце скрылось, полоса живого золота исчезла, и в полумраке из тучи пыли выполз Вася, таща за собой сундук, сам мохнатый и серый, как сатана, в которого он ткнулся мордой.

Задыхаясь, ругаясь и продолжая неистово чихать, он выбросил сундук в коридор и запер дверь.

Пока Вася отряхивался, я смахнул пыль с сундука. Он был белый, кожаный, с китайской надписью. Я и Вася, взявшись за медные ручки сундука, совершенно легкого, потащили его по лестнице, причем Вася обернул его ручку бумажкой и держал руку на отлете, чтобы костюмом не коснуться ноши. За стеной, отделявшей от кладовки наши актерские номерки, в испуге неистово лаяла Леберка, потревоженная неслыханным никогда грохотом. Я представил себе, как она лает, поджав свой «прут», как называют охотники хвост у понтера.

* * *

За вечерним чаем, как всегда, присутство-

вали друзья Григорьева: суфлер Ф. Ф. Качевский, А. Д. Казаков и В. Т. Островский.

– Григорий Иванович, что такое страшное колесище там? А в нем будто человек привязан.

– Это вот он привязан. – И Григорий Иванович указывал пальцем на Казакова.

– Уж и я? Просто мое чучело, – ответил Казаков точь-в-точь тем же тоном, как он, играя Аркашку, отвечал Несчастливцеву на слова его: «Тебя четыре версты нагайками в Курске гнали». – «Уж и четыре?»

Точь-в-точь тот же самый тон и то же выражение лица.

– Ты расскажи лучше, как тебя колесовали, – не отставал Григорьев.

– Уж и колесовали? Никто меня не колесовал. – И, игнорируя Григорьева, Казаков обратился ко мне, как к человеку новому, и продолжал рассказывать давно известное другим собеседникам: – Играл я дон Педро; тогда еще я крепостным был. На сцене суд инквизиции. Присудили дон Педро колесовать. А вот это самое колесо в глубине сцены стоит, а кругом сбиры, полиция в черных кафтанах, на голове

черные колпаки, лица в черных масках. Среди них огромный палач весь в красном. И вот прямо от стола судей – они монахи и тоже в черных масках – повел меня палач к колесу. Сбирь нас окружили, незаметно от публики меня опустили в люк, а вместо меня приготовили чучело, одетое так же, как и я. Театр был летний, открытый; партер и ложи полны съехавшимися со всей губернии помещиками, кругом театра народищу видимо-невидимо, свои крепостные и соседи мужики. Мать мою и сестер – ведь я первейший придворный актер у нас считался – в партер усадили в углу, на скамейке вместе с семьями камердинера и дворецкого. Палач привязал дон Педро и крутнул колесо. «Санька-а-а-а!» – раздался вопль мамы, а за ней вой в народе. В партере и ложах с барынями истерики. В этот момент я уже разгримировался и стал разуваться, как ко мне в уборную вбежал сам Мосолов, схватил меня и в костюме, но без парика, одна нога в сапоге со шпорой, а другая босая, на сцену вытащил.

Как только увидали меня, зааплодировали, кто-то крикнул «ура». За ним все – и госпо-

да и народ кругом. Все «ура». Рев звериный! Да-с, такого успеха никогда я больше не имел.

– Как называлась эта пьеса? – спрашиваю.

– «Дон Педро, или Испанская инквизиция».

Она самодельная. Мосолов ее из испанского романа переделал для своего театра и после спектакля сжег в камине.

– Я уж жалел, вот бы сборы делала, – перебил Григорий Иванович. – Лучше бы он пьесу мне прислал, а то десять возов рухляди: колесо и Перуна на отдельных дрогах везли.

– А сатану в кресле? – спрашиваю.

– Нет, сатана доморощенный, мы сами делали для «Казни безбожника».

– А Перун наш, – поторопился Казаков. – Потом Мосолов ставил «Крещение Руси, или Владимир Красное Солнышко». Декорации писать стали: Перуна сделали из огромнейшего осокоря, вырубленного в парке, да тут у барина с барыней вышла заворошка, она из ревности потребовала закрыть театр и распустить актеров.

Имущество все театральное свалили в сарай, труппу разогнали, кого на работы в дальние имения разослали, а я бежал...

Я слушал интереснейшие рассказы Казакова, а перед моими глазами еще стояла эта страшная бутафория с ее паутиной, контурами мохнатых серых ужасов: сатана, колесо, рухнувшая громада идола, потонувшая в пыли. Пахло мышами.

А Вася, когда мы уже принесли сундук, переодевались и мылись дома, заметил:

– Какой ужас! Вечером ни за что не пойду туда. Вельзевул этот, а над ним Перун, – так мне и кажется, что в окно кто-то лезет... лезет... Запри, кажется, меня на ночь туда – утром найдут бездыханным, как Хому Брута...

И сразу передо мною предстал гоголевский «Вий». Потом, когда уже я оставил Тамбов, у меня иногда по ночам галлюцинации обоняния бывали: пахнет мышами и тлением. Каждый раз передо мной вставал первый кусочек моей театральной юности: вспоминались мелочи первого сезона, как живые, вырастали товарищи актеры и первым делом Вася.

Вспоминался чай у Григорьева... и красноносый Казаков с его рассказами, и строгое лицо резонера В.Т. Островского. Помню до слова его спор за чаем с Казаковым, который вос-

торгался Рыбаковым в роли Велизария.

– Нет, Милославский был лучше и величественнее. Ведь он был барон Фриденбург... и осанка...

– А как он тебя в «Велизарии» сконфузил? А? Ну-ка, расскажи молодому человеку.

– И горжусь этим...

Мы приготовились слушать, допив последний чай. В. Т. Островский поставил стакан на блюдечко, перевернул вверх дном и положил на дно кусочек сахара.

– Ну-с, это было еще перед волей, в Курске. Шел «Велизарий». Я играл Евтропия, да в монологе на первом слове и споткнулся. Молчу. Ни в зуб толкнуть. Пауза, неловкость. Суфлер растерялся. А Николай Карлович со своего трона ко мне, тем же своим тоном, будто продолжает свою роль: «Что же ты молчишь, Евтропий? Иль роли ты не знаешь? Спроси суфлера, он тебе подскажет. Сенат и публика уж ждут тебя давно».

Не успел Островский договорить последнюю фразу, как отворилась дверь, и высокий тенор наполнил всю комнату:

«Богам во славу, князю в честь!»

Против меня у распахнутой двери стоял стройный высокий богатырь в щегольской поддевке и длинных сапогах. Серые глаза весело смотрели. Обе руки размахнулись вместе с последней высокой нотой и остановились над его седеющей курчавой головой. В левой – огромная жестяная банка, перевязанная бечевкой, а в правой – большой рогожный кулек.

– Миша! – раздалось встречное приветствие.

– Гриша! Это икорка сальянская!..

Банку поставил к ногам хозяина, а кулек положил на пол у стула перед хозяйкой, приложившись к ее руке.

– Стерлядок вам, Анна Николаевна, саратовские, пылко́го мороза.

Поцелуй, объятия.

В это время Вася шепчет мне:

– Этот вот тот самый – Докучаев. Помнишь, в «Свадьбе Кречинского» Расплюев жалуется: «После докучаевской трепки не жить».

Я так и обомлел. Пьеса эта прошла в сезон пять раз и была у меня на слуху.

– Могу я об этом его спросить, Вася?

– Не советую. В какой час попадешь!

– Михаил Павлович, позвольте чайку, – спросила хозяйка.

– Гриша, чайку-то чайку, а что к чайку?

– А к чайку ромку. Еще осталось малость, никому не даю, на случай простуды берегу!

Докучаев как-то съежился, изменил лицо, задрожал, застучал зубами.

– Я ужасно простужен, – чуть не плачет.

– Сейчас вылечу, принесу, – наклонился к кульку и отступился. – Не поднимешь. Да ты пуд, что ли, привез?

– Да, около того, без малого с лишком... Извини, Гриша, уж сколько было.

Докучаев опрокинул бутылку в пустой чайный стакан, который оказался почти полным, затем поднял его и продекламировал:

*Убей меня господь бог громом,
Не будь лихим я казаком,
Когда испорчу чай я ромом
Или испорчу чаем ром.*

И залпом выпил.

* * *

Несмотря на просьбы Григорьева пого-

стить, Докучаев отказался:

– Меня телеграммой вызвал Лаухин. Я у него режиссером, для Орла еду труппу составлять.

На другой день перед отъездом Докучаев спустился вниз к В.Т. Островскому, который звал его «дорожку погладить» и приготовил угощение.

Большая низенькая комната, увешанная афишами и венками. Вдруг Докучаев замолчал, поднял голову, озираясь:

– Это та самая комната?

– Да, – подтвердил В.Т. Островский.

– Какие подлецы!.. А жаль Гришу... Совсем зря погиб... – И, задумавшись, молча выпил. – Еще!..

Я уже знал тайну этой комнаты. В ней был застрелен наповал ворвавшимся неожиданно гусаром актер Кулебякин.

Накануне он публично оскорбил офицеров, в том числе и этого гусара. И вот, рано утром, на другой день, гусар разбудил спавшего Кулебякина и, только что проснувшегося, еще в постели, уложил пистолетной пулей.

Как-то Кулебякин студентом однажды приехал на ярмарку в Урюпино покупать лошадь, прокутил деньги и, боясь отца, поступил к Григорьеву на сцену.

Огромного роста, силы необычайной и «голос, шуму вод подобный». В своих любимых ролях – Прокопия Ляпунова, боярина Басенка, Кузьмы Рощина – он конкурировал с Н.Х. Рыбаковым.

Докучаев набивал «жуковским табаком» трубку на длинном чубуке. Вася молчал. Тут я и решился,

– Михаил Павлович... Кого здесь убили?

– Не знаешь? Ты не знаешь?

Он встал и загремел:

– «Его, властителя, героя, полубога...» Друга моего Гришу Кулебякина убили здесь... «Человек он был». «Орел, не вам чета»... Ты видишь меня? Хорошо?... Подковки гнул. А перед ним я был мальчишка и щенок. Кулачище – во! Вот Сухово-Кобылин всю правду, как было, написал... Только фамилию изменил, а похожа: Куле-бя-кин у него Семи-пя-дов. А мою фамилию целиком поставил: «После докучаевской трепки не жить!» После истории в Курске не

жить!

Разошелся, глаза блестят. Голос гремит по комнате,

– А было это под Курском, на Коренной ярмарке... Тогда съезжались помещики из разных губерний, из Москвы коннозаводчики бывали, ремонтеры... Ну, конечно, и шулерам добыча, игры тысячные были... А мы в то лето с Гришей в Курске служили – поехали прокатиться на ярмарку... Я еще совсем молодым был. Деньги у меня были, только что бенефис взял. Приехали – знакомых тьма... Закрутились... Захотелось в картишки. Оказалось, что с неделю здесь ответный банк мечет какой-то польский граф Красинский. Встретились со знакомым ремонтером, тоже поиграть к графу идет; взялся нас провести – пускают только знакомых. Большая мазанка в вишневом саду. Человек десять штатских и офицеров понтируют, кто сидит, кто стоит... Пол усыпан картами. На столе груды денег... Мечет банк франт с шелковистыми баками и усиками стрелкой. На руках кольца так и сверкают. Вправо толстяк с усами, помещичьего вида, следит за ставками, рассчитывается, а слева

от банкмета боров этакий, еще толще, вроде Собакевича, в мундире. Оказалось после – исправник, тоже помогал рассчитывать. Кулебякин сел за стол и закурил сигарету; он не любил карт. Я сразу зарвался, ставлю крупно, а карта за картой все подряд биты. «Пойдем, шулера», – шепчет мне Гриша. Я от него отмахиваюсь и ставлю. Разгорячился. Опять все карты – крупная была ставки – биты. Подается новая колода карт. Вдруг вскакивает Гриша, схватывает через стол одной рукой банкмета, а другой руку его помощника и поднимает кверху; у каждого по колоде карт в руке, не успели перемениться: «Шулера, колоды меняют!» На момент все замерло, а он схватил одной рукой за горло толстяка и кулачищем начал его тыкать в морду и лупить по чем попало... Граф заорал: «Цо?... Цо?... Разбой здесь», – и ловит за руку Гришу. Тогда уж я его по морде... С ног долой... Кругом гвалт, стол опрокинулся, а Гриша прижал своего толстяка к стене, потянулся через стол и лупит по морде кулаком... Исправник бросился на меня... Я исправника в морду... Стол вверх ногами... Исправник прыгнул к окну и вылезает...

Свалка... Графа бьют... Кто деньги с полу собирает... Исправник лезет в окно – высунул голову и плечи и застрял, лезет обратно, а я его за ноги и давай вперед пихать. Так забил, что ни назад, ни вперед... голова на улице, ноги здесь, а пузо застряло. Потом пришлось стену рубить, чтоб его достать. Когда я приехал зимой в Москву, все уже знали. Весь Малый театр говорил об этом. У Печкина в трактире меня актеры чествовали. Сам Михаил Семенович Щепкин просил рассказать, как все это было. А узнали потому, что на ярмарке были москвичи-коннозаводчики и спортсмены и рассказывали раньше всю историю. Оказалось, что граф Красинский вовсе не граф был, а шулер.

* * *

Прошло много лет, и в конце прошлого столетия мы опять встретились в Москве. Докучаев гостил у меня несколько дней на даче в Быкове. Ему было около восьмидесяти лет, он еще бодрился, старался петь надтреснутым голосом арии, читал монологи из пьес и опять повторил как-то за вечерним чаем слышанный мной в Тамбове рассказ о «докучаев-

ской трепке». Но говорил он уже без пафоса, без цитат из пьес. Быть может, там, в Тамбове, воодушевила его комната, где погиб его друг.

Я смотрел на эту руину былого богатыря и забияки и рядом с ним видел другого, возбужденного, могучего, слышал тот незабвенный, огненный монолог. Самое интересное, что я услышал теперь от постаревшего Докучаева, был его отзыв о В. В. Самойлове.

– Это был лучший, единственный Кречинский... Глядя на Василия Васильевича, на его грим, фигуру, слушая его легкий польский акцент, я видел в нем живого «графа», когда вскочил тот из-за стола, угрожающе поднял руку с колодой карт... И вот в сцене с Нелькиным, когда Кречинский возвышает голос со словами: «Что? Сатисфакция?» – сцена на ярмарке встала передо мной: та же фигура, тот же голос, тот же презрительный жест... Да, это был великий артист. Придумать польский акцент, угадать жесты, грим... И как рад был Василий Васильевич, когда я зашел к нему в уборную и рассказал все, что говорю теперь вам... Он меня обнял, поцеловал и пригласил

на другой день к себе обедать, а я запутался и не попал, потом уехал в провинцию и больше не видал его, и не видал больше на сцене ни одного хорошего Кречинского – перед Василием Васильевичем Самойловым каждый из них был мальчишка и щенок.

На другой день в вагоне дачного поезда, уже перед Москвой, я спросил:

– Встречался ли ты, Миша, с Сухово-Кобылиным? Уж очень он метко описал всю сцену.

– Нет, с ним не встречался. А может, он сам видел эту сцену? Наверное, бывал на ярмарке. Картежник он был и лошажник. У него в Москве были призовые лошади, сам он участвовал на московских скачках, первые призы выигрывал. А потом под Ярославлем у него имение было. А в Ярославле в то время жил и тот, с кого он Кречинского писал... Шулер Красинский за графа сперва себя выдавал. А вот этого толстяка, с которого он Расплюева писал, из которого Гриша тогда «дров и лучин нащепал», я встретил в Ярославле. Он был и шулер, и соборный певчий, и служил хористом в ярославском театре. Его там Егорка Быстров в шулерстве поймал. Из окна выки-

нули.

Последние слова он договорил, когда наш дачный поезд остановился у платформы Рязанского вокзала.

– Егорка Быстров сам игрок.

Наконец судьба Докучаева устроилась – и совершенно случайно. На Тверской встречаю как-то Федю Горева и зову его к себе на дачу.

– Не могу, завтра вечером в Питер еду.

– А у меня Докучаев гостит!

– Миша? Михаил Павлович? Да ну? Ведь благодаря ему я теперь и разговариваю с тобой. Кабы не он, и Горева не было бы, а торговал бы в Сумах Хведор Васильев ситцем.

Я рассказал ему, что старик бедствует.

– Так привози его мне завтра утром. Я живу в «Ливадии». Знаешь? Против «Чернышей». Там писатель Круглов живет, в соседнем номере.

* * *

Обрадовался старик, узнав о Гореве.

– Я его придумал. Мы играли тогда в Сумах. Вхожу в лавку – и обалдел. За прилавком стоит юноша неопишуемой красоты. Фас – Парис, а в профиль – Юлий Цезарь... Представь себе,

Юлий Цезарь, вместо боевого меча отмеривающий железным аршином ситец какой-то бабе и в чем-то неотразимо убеждающий ее. Голос звучный, красивый. Ну, я ему сейчас контрамарку. Велел за кулисы прийти. На другой день зашел к нему, познакомился с отцом. Красавец-старик, отставной солдат из кантонистов, родом с Волыни, мать местная... славная... Ну, дальше – больше. Сыграл у меня Федя Васильев несколько ролишек – я ему читал, вижу – талантище. Увез с собой в Харьков, определил к Дюкову – и вот Горев.

Привез я на другой день старика к Гореву, и больше мы не видались. Горев в тот же день уехал с ним в Питер и определил его в приют для престарелых артистов.

Я слышал от бывавших там, что старик блаженствует и веселит весь приют. Рассказывает про старину, поет арии из опереток и опер, песни, с балалайкой не расстаётся.

Артисты иногда собирались в большой столовой и устраивали концерт – кто во что горазд. Кто на рояле играл, кто пел, кто стихи читал. Расшевеливали и его.

– Ну-ка, Миша, тряхни стариной!

И Докучаев запевал своим высоким, но уже надтреснутым голосом. Дойдя до своей любимой арии Торопки, на высокой ноте обязательно петуха запуская и замолкал сконфуженно.

Тут обычно кто-нибудь ему кричал:
– Топорище!

И он вновь оживлялся – потрянув балалайкой, топнув ногой, начинал звонко, с припляском, выводить:

*А и кости болят,
Все суставы говорят...*

Пел и подплясывал... А когда заканчивал, раздавались аплодисменты. Но дамы делали вид, что не понимают, и только старуха Мурковская, бывшая гран-дам, лаская неразлучную с ней Моську, недовольно ворчала:

– И все врет, и все врет. Хвастунишка!

Придя в общежитие откуда-то навеселе, Миша появился в столовой с балалайкой и сразу запел:

Близко города Славянска...

И, как всегда, на верхней ноте голос оборвался, и по обыкновению кто-то крикнул:

– Топорище!

И он опять-таки, как всегда, лихо закончил последний куплет под аплодисменты и... грохнулся на пол.

Старое сердце не выдержало молодого порыва.